

Татьяна Касаткина

ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ТЕКСТ В «БРАТЬЯХ КАРАМАЗОВЫХ»: «ОТЦЫ И УЧИТЕЛИ...»

Когда Алеша в романе «Братья Карамазовы» (в книге «Русский инок») обращается к старцу Зосиме со словами «отец и учитель» (14; 258), в сознании всякого, внимательно читавшего Евангелие, должен возникнуть один из самых острых и парадоксальных евангельских текстов, который Достоевский, конечно же, не мог пропустить без внимания и отклика: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос» (Мф. 23: 8—10).

Поскольку к этому моменту текста уже достаточно выяснилось, что Зосима, в сущности, заслонил Алеше Христа (Алеша говорит Лизе Хохлаковой о том, что «в Бога-то вот, может быть, и не верует», и — сразу после того — что теперь его «друг уходит, *первый в мире человек*, землю покидает» (14; 201)¹), то данная фоновая цитата работает в том же направлении, подготавливая и объясняя Алешин бунт. Но это отнюдь не решение в романе проблемы одного из самых преткновенных евангельских текстов — это лишь постановка ее. Потому что, в сущности, весь роман посвящен вопросу — кого и когда можно и нужно назвать отцом — вплоть до либерального и новаторского предложения Фетюковича — не называть отцом отца, пока тот не докажет сыну, что достоин так именоваться (см.: 15; 169—171). Однако Достоевский даст и решение — причем, даст его уже в следующем абзаце. Но прежде,

чем перейти к решению Достоевского, посмотрим, какие комментарии на этот текст предлагает христианская культура, в видимом противоречии с цитируемым местом Евангелия узаконившая обращение к священнику — «отец».

Феофилакт, архиепископ Болгарский, в «Благовестнике» так комментирует Мф. 23, 8—10: «Христос не запрещает называться учителями, но запрещает страстно желать этого названия, всеми силами стараться о приобретении его, ибо учительское достоинство в собственном смысле принадлежит одному Богу»². Однако, по смыслу текста, Христос именно *запрещает* здесь называться учителями. Комментарий же направлен на то, чтобы революционное, радикальное изменение, провозглашаемое Христом, смягчить, смазать, сделать более приемлемым для традиционного ума. В конце концов — свести на нет, что весьма успешно и было проделано. Высказывание Христа неожиданно, страшно (особенно «и отцом не называйте») и способно вызвать метанойю, перемену ума. Комментарий направлен на то, чтобы ум не изменился.

Иоанн Златоуст, комментируя этот текст словами: «Один Бог есть виновник всех и учителей и отцов»³, точно определяет, к Кому мы обращаемся со словами «учитель» и «отец» сквозь любого временного носителя этих именовании. Не человеку принадлежит наше почтение, но образу Божию в нем, актуализируемому именовании «отец» и «учитель». Поэтому мы обращаемся со словом «отец» к священнику, который может годиться нам в сыновья или в братья или не вызывать никакого почтения к себе *лично*. К сожалению, и мирянам, и священникам случается забывать об этом обстоятельстве, полагая, что сан и вправду делает *самого человека* «старшим» и «учителем», из-за чего приходится порой наблюдать почти неприличные сцены, когда весьма пожилые женщины обращаются к годящемуся им во внуки «отцу» на «вы», а он к ним — на «ты».

Слова Христовы указывают нам на один простой и несомненный факт: здесь, на земле, мы все — ученики и братья. «Все — дитё», как сформулирует это Митя Карамазов. Христос своим высказыванием навсегда упраздняет всякую иерархию, в сущности тем самым радикально полагая предел для всех возможных великих инквизиторов. Если, конечно, не пытаться смягчить Его высказывание комментарием. Язычество — источник родовой, посвятительной (инициатической) и социальной иерархии. Христианство — самое последовательное равенство и братство.

Лозунг Великой французской революции: «Свобода, равенство и братство», — не мог возникнуть ни в какой культуре, кроме христианской хотя бы по происхождению. Однако последствия его применения были совсем не христианскими. И именно потому, что революцией был отвергнут единственный истинный Отец и Учитель.

Следствием признания того, что на земле нет высших и наставников, нет отцов и учителей, могут быть два разных и даже прямо противоположных пути. Более известный нам путь — путь, впервые последовательно реализованный французской революцией, — путь всеобщего непочтения, «хамства», как назовет это Мережковский. *Если нет никого выше меня — значит, все ниже меня*: вот способ понимания равенства на этом пути. Ведь если нет Бога — то всякому позволительно занять Его место. И, в отсутствие Бога, всякий ощущает со всей остротой непосредственного опыта, что мир вращается вокруг именно его «я». В романе «Братья Карамазовы» это путь Ракитина (он почти при первом своем появлении провозглашает лозунг Великой французской революции: «Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет...» (14; 76)). Но на то он и «пошляк», как он сам подозревает и выскажет сразу же после декларирования великого революционного принципа... Для других героев, пытающихся отвергнуть Бога: великого инквизитора, Ивана, Смердякова — их попытка становится не путем, а тупиком, выход из которого — только в следовании за Христом (как написал Павел Фокин о великом инквизиторе, выпустившем Христа из тюрьмы). И, надо полагать, стены их темниц возведены именно их надменностью и презрением к окружающим, отмеченными в романе в качестве доминант характера для всех троих.

Интересно, что Достоевский показывает, как эти стены возводятся кажущимся освобождением, разрушением личностью всех прежних сдерживающих и структурирующих оснований: «Мало того, — пересказывает черт рассуждения Ивана в поэме «Геологический переворот», — если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего

раба-человека, если оно понадобится. Для бога не существует закона! Где станет бог — там уже место божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... “все дозволено” и шабаш!» (15; 84). Невозможно не заметить, как параллельно видимому «освобождению» человеко-бога в тексте нарастает его *уединение*, отчуждение, как каждое слово новой «свободы» становится кирпичом в стене, отделяющей его от всех остальных в человечестве... И размышления Ивана, и размышления великого инквизитора доказывают, что составляющие лозунга Великой французской революции — *несовместимы*, что такая свобода немедленно уничтожает равенство и, тем более, братство. А «равенство» осуществляется великим инквизитором в человечестве путем уничтожения свободы...

Однако следствием признания того, что на земле нет высших и наставников, может быть и другой путь. Так, в классе, откуда ушел или изгнан учитель, начинается кавардак, бедлам и разбой. (Именно так — как взбунтовавшихся детишек, выгнавших из класса учителя — описывает революционное человечество великий инквизитор (14; 233).) Но совсем иное — в классе, где учитель присутствует — и все об этом знают, но только никто не знает, как он выглядит. Или вернее — кем Он предстанет на этот раз. Через кого захочет дать урок. Равенство в таких условиях — это путь всеобщего почитания, и способ понимания равенства в этом случае — *если нет никого ниже меня, то все выше меня*. И именно на этот способ понимания равенства указывает Христос, продолжая разбираемый евангельский текст об отцах и учителях словами: «Больший из вас да будет вам слуга: ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23; 11—12).

Если нет на земле отца и учителя, то в любом мы можем увидеть Отца и Учителя. Вот решение, которое дает Достоевский в романе. И старец Зосима, словно отвечая на Алешино «отец и учитель», — далее, на протяжении всей беседы в главе «Русский инок», будет обращаться к своим гостям — «отцы и учителя». Между тем, он для всех присутствующих — старец. То есть, если понимать дело иерархически, — именно «отец и учитель», наделенный огромной «в иных случаях» властью, как специально оговаривает Достоевский в начале романа. В сущности, его обращение звучит так, как если бы учитель вошел в класс и обратился к присутствующим там ученикам: «Отцы и учителя!»

Что я не утрирую, не преувеличиваю парадоксальности, с нашей точки зрения, такого обращения, доказывает романная рифма к этим словам старца Зосимы. Я имею в виду обращение капитана Снегирева к своему сыну со словами: «Батюшка, милый батюшка» (15; 190) — поражающее воображение читателя. Вообще же, уделив внимание этому обращению, можно заметить немало таких «обернутых» обращений в романе: например, то, что Федор Павлович относится к Ивану со словами: «Отец ты мой родной» (14; 252), — хоть и менее замечается читателем, но принадлежит тому же ряду. Замечательно, что когда Достоевский описывает обращения с подобными словами к лицам, с которыми говорящий не связан родственными узами, — он вводит указания на создание и *оборачивание* таких уз в текст, непосредственно окружающий обращение. Вот, например: «Дмитрий Федорович, слушай, *батюшка*, — начал, обращаясь к Мите, Михаил Макарович, и все взволнованное лицо его выражало горячее *отеческое* почти сострадание к несчастному...» (14; 418). Не обошлось здесь, конечно, и без госпожи Хохлаковой, дополнительно вскрывшей в этой оборачиваемости обращений идею равенства в том смысле, что любой «старший» может, а в иных случаях и неизбежно должен, обратиться к младшему как к старшему: «... вы меня простите, Алеша, я вам как мать... о нет, нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу... потому что мать тут совсем не идет...» (15; 16)⁴.

Вообще же, самое пронзительное впечатление в романе оставляют обращения или именованья «папа» по отношению к отцам, которые, с точки зрения либерала Фетюковича, решительно не могли бы претендовать на это «звание». Это Илюшечкино: «Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите его» (14; 186) и «Папочка, милый папочка, как он тебя унизил!» (14; 190). И это крик девочки, которую сечет отец: «Папа, папа, папочка, папочка!» (14; 220). В сущности, дети здесь говорят: «Как бы тебя не унизили, ты все равно мой отец, и ничто этого не изменит» или «Как бы ты не унизил себя (своей жестокостью и несправедливостью) — ты все равно мой отец, и ничто этого не изменит». И это возможно только потому, что «один Бог есть виновник всех и учителей и отцов».

Я полагаю, что вне контекста разбираемого высказывания Христа невозможно понять другое, гораздо более «популярное», хотя

вовсе не более понятное Его высказывание: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Но приведем полный текст: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18: 1—4). Если не переводить высказывание сразу в привычный морализаторский план, то можно будет, наконец, заметить, что речь здесь *буквально* идет о *росте*: среди учеников стоит ребенок, который *ниже* всех, и им предлагается *умалиться*, чтобы стать (почувствовать себя) «как это дитя».

Стоит всерьез подумать — о чем идет речь, когда, для вхождения в Царство Небесное, нам предлагают стать «как дети». То есть — какие качества детей, собственно, обеспечивают им такое вхождение? Опять-таки, привычный ответ — это «детская кротость», «послушание» и т.п. Слыша такие ответы, всегда хочется спросить, как давно отвечающий видел детей. Во всяком случае, по прочтении романа «Братья Карамазовы» уж точно странно говорить об этих качествах как о специфически детских. Есть только одно качество, безусловно присущее всем детям, пока они дети. Это — способность *расти*. И кроме того, пожалуй, ощущение своего роста как недостаточного еще, знание о том, что будешь расти дальше. Во всяком случае, в романе именно это ощущение подчеркнуто — в случае Коли Красоткина: очень специфического ребенка, желающего быть взрослым и учителем, которому мы, читатели, все прощаем именно потому, что он растущий и меняющийся и очень хотящий расти (и ростом и возрастом): и надо признать, что если бы он был *взрослый* — это был бы преотвратительный персонаж. Именно поэтому так страшно то, что предполагает сделать с людьми великий инквизитор. Он хочет сделать из них детей, которые *не растут* (14; 236). Но отсутствие роста — это как раз главное свойство *взрослого*. То есть великий инквизитор делает из людей не младенцев (тут он лукавит) — он делает из них лилипутов, крошечных уродцев, позволяющих ему на их фоне почувствовать собственное величие.

Старец Зосима, в противовес великому инквизитору, ощущающему себя старшим, высшим и учителем, ощущает себя учеником и младшим. Причем они употребляют одно слово — «младенец»,

но великий инквизитор — применительно ко всем другим, а старец Зосима — применительно к себе: «Отцы и учителя, простите и не сердитесь, что как малый младенец толкую о том, что давно уже знаете и о чем меня же научите стократ искуснее и благолепнее» (14; 266). Надо заметить и еще одно — в романе хорошему учит, как правило, младший старшего: Зосима таинственного посетителя, Алеша — Митю и Грушеньку, Илюша — своего папу и мальчиков (и Колю, и даже Алешу) и многих романских персонажей, даже от своего старшего брата Зосима научается хорошему лишь после того, как начинает значительно превосходить его годами. Старший же (по возрасту или званию) учит младшего плохому — Смердяков Илюшу, Иван — Смердякова, Ракитин — Колю Красоткина, Федор Павлович — Ивана и Алешу... Будучи старшим, научить хорошему можно лишь либо почувствовав себя на равных с обучаемыми (как Алеша с мальчиками; характерен его ответ Коле: «Я пришел у вас учиться, Карамазов, — проникновенным и экспансивным голосом заключил Коля. — А я у вас, — улыбнулся Алеша, пожав ему руку» (14; 484)), либо — как старец Зосима, «младенчески» проповедуя «отцам и учителям». И недаром научивший Митю исповеданию в Троице сущего Бога Герценштубе вспомнит о том времени так: «О да, я сам был тогда еще очень молодой человек... Мне... ну да, мне было тогда сорок пять лет» (15; 106). Характерно, что духовное руководство под Алешей старец Зосима передает о. Паисию, чье имя по-гречески значит «дитя».

Итак, для того, чтобы войти в Царство Небесное — надо быть способным расти. В Царство Небесное *врастают*. А расти может сын — не отец. Ученик — не учитель. Отец и учитель *уже* выросли — именно потому, что они *выше* ученика и сына (если уж не ростом — то возрастом или знанием). А растет тот, кто хочет расти. А хочет расти — опять-таки, вспомним Колю Красоткина — тот, кто *ниже*. Стоит нам *перерастить* кого-то (или «всех») — и мы уже довольны и удовлетворены. Мы прекращаем расти и — перестаем «быть как дети». И это значит, что Царство Небесное оказывается закрыто для нас. В парадоксальной манере Достоевского и Евангелия то, что хочет внушить нам текст, можно было бы сформулировать так: а вы не называйтесь учителями, отцы и учителя⁵!

Примечания

¹ См. об этом подробнее: Касаткина Т. Литургическая цитата в «Братьях Карамазовых» // Достоевский и мировая культура. — № 22. — М., 2007. — С. 17—18.

² Цит. по: Толковое Евангелие. Книга первая. Евангелие от Матфея. — М., 1870. Репринт 1993. — С. 423.

³ Там же.

⁴ Характерно и еще одно изменение обращения, поразительное, потому что непредставимое ранее: Митя, сразу после объяснения того, как переменилась его любовь к Груше, когда он «всю ее душу в свою душу принял и через нее сам человеком стал» (15; 33), называет ее в разговоре с Алешей «брат Грушенька». «Нет, брат Грушенька, это не то. Ты тут маху дала, своего глупенького женского маху!» (15; 34). Здесь Достоевский, кажется, с восхитительной парадоксальностью откликается на еще один пронзительный текст Нового завета: «...несть ни мужчины, ни женщины». Но это предмет особого разговора.

⁵ К счастью, Православная Церковь не забыла об этом учении Христовом, несмотря на забвение его многими ее членами. Митрополит Сурожский Антоний неотступно напоминает о нем — и в своих работах и в своем опыте построения церковной жизни: «Я с самого начала призывал людей к тому, чтобы Церковь была единой. Когда я услышал недавно высказывание о том, что в Церкви епископ имеет власть, что он властвует над священниками, а священники должны управлять мирянами, меня охватил ужас. Нет, мы все едины, мы все — дети одного и того же Бога, братья и сестры Христовы по Его собственному слову и свидетельству». «И с самого начала мы стали строить приход на том основании, что каждый священник является слугой, а не управляющим, не начальником, а, если можно так сказать, рабом, который свою жизнь отдал для того, чтобы служить людям...» (Антоний, митрополит Сурожский. Труды. Кн. 2. — М.: Практика, 2007. — С. 51).

И еще — в работе «Церковь и евхаристия»: «Когда богословы себе представляют Церковь как евхаристическую, богослужебно-евхаристическую структуру, то начинается уже полная беда, потому что получается пирамида власти и подчиненности, подвластности: миряне, духовенство, епископ, патриарх — все это поднимается такой пирамидой, и на каждом уровне у кого-то есть власть, а у кого-то послушание. На самом же деле, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что все наоборот, если ты хочешь быть первым — будь последним, если хочешь быть во главе — будь всем слуга, будь раб всем (Мф 20:27). Так что такая структура, эта пирамида может иметь место, если хотите, но она стоит наоборот (это образ, который мне дал отец Софроний): она стоит на точке, но эта точка — не патриарх, эта точка — Спаситель Христос, и вся тяжесть мира лежит на Его плечах. Это тоже мы должны понимать.

Мы не должны думать о Церкви как о такой структуре, где одни учат, другие учатся, одни властвуют, другие подчиняются. В этом заключен соблазн, трагический соблазн для каждого священника, для каждого епископа, в предельном виде — это ересь, будто кто-то единственный, кто стоит на самой высокой точке, представляет собой главу Церкви. Нет главы Церкви, кроме Христа, нет никакой силы в Церкви, кроме Святого Духа, и это причина, почему во всех таинствах священник не является тайносовершителем». «И в этом смысле евхаристическое богословие, которое думает о Церкви как о структуре, ошибочно, оно обман. Оно превращает Церковь в человеческое общество иерархии, вместо того чтобы было Богочеловеческое общество Божественного простора, Божественной свободы, потому что действие Божие — освобождение наше, а не порабощение. Чудо является не действием Божественной власти, а действием Божественной силы, выпускающей тварь на свободу» (Там же. — С. 474—475).